



С. Л. ФРАНК

Нравственное учение Л. Н. Толстого

(К 80-летию юбилею Толстого 28 августа 1908 г.)

Великий гений, восьмидесятилетие которого празднует Россия, давно уже возвышается над нашей жизнью с неприступным одиночеством горной вершины, давно уже, живя среди нас, живет в вечности, чуждый нашим похвалам и порицаниям. Он еще многое может дать нам, но мы ничего не можем дать ему. Чествование таких редчайших людей должно носить особый характер; оно может состоять только в уяснении, укреплении и просветлении нашего собственного отношения к ним. Правда, рассуждая по существу, вряд ли нужен был такой повод для того, чтобы русское общество думало о величайшем человеке современной России. Но люди уж так устроены, что более склонны искать нового, чем великого, и нуждаются во внешних толчках, чтобы сосредоточивать внимание на том, о чем никогда не следовало бы забывать; и потому мы должны быть благодарны случаю, напоминающему нам о нашем великом современнике.

Мне кажется, этим случаем следует воспользоваться прежде всего для того, чтобы исправить совершенно ненормальное отношение к Толстому, установившееся в русском обществе. Его хвалят и возвеличивают как бы только для того, чтобы купить этим право не думать о нем и без проверки отвергать его идеи. Из всех современных мыслителей Толстой пользуется наибольшей славой, но вместе с тем, кажется, наименьшим признанием. Обыкновенно полагают, что в этом только и сказывается двойственность отношения к Толстому как к художнику и как к проповеднику-мыслителю: первый пользуется безграничным признанием, второй почти повсеместно и безусловно отвергается. Но не это мы имеем здесь в виду: оставляя совершенно в стороне Толстого-художника, можно отметить двойственность и в самом отношении к Толстому-мыслителю; немногие решаются отказать

в величии, глубине и мудрости его идеям, и, однако, почти все или отвергают их, или просто игнорируют. Замечается какое-то шаткое, скользкое отношение, отношение, не продуманное до конца и, по крайней мере бессознательно, не лишенное оттенка лицемерия. Не будет слишком резко сказать, что русское общество имеет в отношении идей Толстого *не вполне чистую совесть*. Оно как бы не решается взглянуть ему прямо в лицо и старается славословием заглушить, умертвить острую, режущую силу его вопросов. Толстого обыкновенно *отвергают*, но не *опровергают*; нам, по крайней мере, неизвестно серьезное, достойное своей задачи и вполне удовлетворительное опровержение воззрений Толстого; даже аргументы Вл. Соловьева¹, в сущности, крайне слабы, скорее бьют на чувство, чем дают рациональную критику. Это не значит, что объективная правда на стороне Толстого; напротив, ошибочность или, по меньшей мере, односторонность многих его решений интуитивно чувствуется настолько явственно и сильно, что мы вправе приписать этому чутью некоторое объективное значение и, во всяком случае, должны видеть в нем психологический факт. Почти все мы, с разных точек зрения и по различным мотивам, *не в силах* принять идеи Толстого целиком, в той форме и в том сочетании, как они даны в «толстовстве». Но уважение к самим себе и к гению Толстого требует, чтобы мы *выяснили* и обосновали наше отношение к его мировоззрению; и если мы выполним это добросовестно и вдумчиво, то мы не только поймем, в чем и почему мы не можем сойтись с ним, но мы также яснее разглядим сокровища нетленной правды в его учении и узнаем, чему мы можем и должны учиться у него. Критическое очищение нравственного учения Толстого и выяснение его положительных сторон есть одна из важнейших задач современной этической мысли. Здесь мы можем лишь вкратце наметить некоторые важнейшие пункты этой задачи.

Довольно распространенное мнение признает Толстого, при всем уважении к его гению и нравственным силам, «плохим» и «слабым» мыслителем. Для того чтобы оценить это мнение, нужно условиться, в чем видеть силу мышления. Толстой, бесспорно, мыслитель односторонний; но эта односторонность проистекает исключительно из огромной логической силы, можно сказать, из логической беспощадности его мысли. Вся трудность опровержения Толстого обусловлена тем, что его идеи суть, по большей части, бесстрашные и логически безупречные выводы из господствующих и общепризнанных посылок. В этом — и сила, и слабость Толстого. Кто неспособен пересмотреть идейные посылки нравственного мирозерцания, тот или попадает в

сети толстовства, или — что случается гораздо чаще — остается в шатком, неустойчивом отношении к учению Толстого, не решаясь его признать и не имея силы его опровергнуть. Огромная и самая важная заслуга Толстого состоит в том, что он вскрывает противоречия и непоследовательности господствующего нравственного сознания, показывая, что выводы этого сознания, его каждодневные суждения и оценки не соответствуют его собственным посылкам; слабость же Толстого в том, что сами эти посылки для него абсолютно неприкосновенны, так что он предпочитает оставаться при самых парадоксальных выводах, чем проверить исходную точку своих размышлений. Поэтому, при всем революционизме своих конечных выводов, Толстой остается типом *консервативного* мыслителя, в особенности если сравнить его с такими учителями мудрости, как Гете, Ницше, Достоевский. Но этот безгранично честный и стойкий консерватизм сам сеет плодоносные семена прогресса: заставляя нас продумывать до конца наши моральные посылки, осознать их последние корни, он сам намечает нам путь также и для их преодоления.

Это идейное положение отчетливо обнаруживается на самой оригинальной и наиболее обобщающей части мировоззрения Толстого — на *учении о непротивлении злу*. Внутренний смысл этого учения сводится к прямолинейному проведению начала *моральной принципиальности* и отрицания компромисса; при этом добро и зло усматриваются в известных поступках и отношениях людей, т. е. предполагается (в согласии с общим мнением), что поступки и отношения сами по себе хороши и плохи и что моральная оценка человека определяется его поступками. Толстой делает из этих посылок логически безупречный вывод: никогда, ни при каких условиях и ни по каким мотивам нельзя совершать дурных поступков; следовательно, нельзя противиться злу насилем, ибо насилие дурно. В этом пункте особенно ясна шаткость и непродуманность отношения к Толстому русского интеллигентного общества. Выводы Толстого осуждаются с ожесточением, против них возмущается нравственная совесть, требующая деятельной борьбы со злом; а между тем основная посылка толстовского рассуждения, именно моральная принципиальность, отрицание компромисса, недопущение поступков, которые дурны сами по себе, но преследуют благую цель, — есть символ веры, можно сказать, фундаментальная аксиома русской интеллигенции. Толстой только последовательнее своих моральных единомышленников, протестующих против его выводов: он справедливо указывает, что главный, основной компромисс содержится уже в самом факте насильственной борьбы, а совсем не

в каких-либо политических или партийных методах этой борьбы. Приняв посылки, нельзя не принять и вывода; а если вывод неприемлем, то это требует пересмотра посылок. И действительно, вдумываясь в исходную точку этого морального рассуждения, можно найти, что она совсем не обладает аксиоматической достоверностью, а есть лишь выражение некоторого морального *догматизма*². Нельзя видеть зло в каких-либо внешних поступках, в насилии, в лжи, в употреблении вина, мяса и т. п.; добро и зло суть критерии, применимые в абсолютном смысле только к настроению, к внутреннему строю личности; поступки суть только внешние, всегда неточные и приблизительные указатели душевных переживаний и личного облика того, кто их совершает; и только этот общий облик сам по себе бывает дурен и хорош. Поэтому одинаковые поступки могут быть в одном случае хороши, в другом — дурны, в зависимости от их мотивов, от внутреннего смысла и преследуемой ими цели. Кто прилагает к ним абсолютные и застывшие критерии, тот впадает в догматизм и проповедует своего рода обрядность. Сказать, что нельзя насильно спасти покушающегося на самоубийство или насильно вырвать жертву из рук истязателя, потому что это есть акт недопустимого насилия, — это все равно что сказать, что нельзя накормить больного мясной пищей в постный день. Таким образом, в этом учении Толстого сказался характерный русский догматизм, стремление отыскивать внешние, осязаемые критерии в отношении того, что допускает только неуловимую для общих правил индивидуальную оценку, — то «старообрядчество», к которому, по глубокому наблюдению Тургенева, неужержимо влечет русско-го человека. Отвергнув этот догматизм, мы лишаем силы посылки толстовского учения, но это предполагает отказ и от иного, менее последовательного, но столь же догматического употребления этих посылок, господствующего в нашей интеллигенции. Мы научаемся моральным основам терпимости, видим условность и суетность мнимоабсолютных оценок, сортирующих людей и их дела на основании партийных, политических и вообще внешних критериев. Преодолеть *моральный* радикализм Толстого — значит тем самым и в еще большей мере преодолеть моральное умонастроение *политического* радикализма.

Но этим догматизмом все же не исчерпывается смысл учения о непротивлении злу; и, именно отказавшись от его догматической формулировки, мы можем найти его истинное и глубокое значение. Заменяв внешние критерии внутренними, перенеся нравственную оценку с поступков на переживания и настроение личности, мы открываем великий, вечный смысл правила: «Не

противься злу злом». Если единственный действительный нравственный идеал, единственное *абсолютное добро* сводится к известному внутреннему состоянию — к душевной чистоте, благости воли, святости настроения, — то правило «Не противься злу злом» означает: нельзя бороться со злыми страстями возбуждением злых же страстей вражды и ненависти. Зло должно побеждаться не злом, а добром, ненависть — любовью, гнев — кротостью. Нравственная чистота, идеалы любви и согласия не суть блага, которые можно было бы пускать в оборот, отчуждать, чтобы вознаграждаться впоследствии с лихвою; они суть неотъемлемые достояния личной жизни, с которыми никогда нельзя расставаться, которые всегда должны руководить нашим поведением. Эта идея — одна из величайших идей чистого христианства — в наши дни никем не была высказана с такой силой и убедительностью, как Толстым. В этом отношении прямым антиподом «толстовства» является марксистский социализм. Философский смысл учения о классовой борьбе состоит именно в вере, что идеал *любви* творится средствами *злости*, что путь к устроению *солидарности* лежит в усилении *раздора* между классами, что социальный *мир* может быть лишь продуктом ожесточенной социальной *борьбы*. Лозунг ненависти (хотя и во имя конечного торжества любви) противостоит здесь чистому лозунгу любви в толстовстве, и в выборе между ними не может быть долгих колебаний. Правда, и здесь не существует общего правила, действующего во всех случаях без исключения; бывают редкие случаи, когда дела любви действительно творятся ненавистью, когда применимы гетевские слова о силе, которая вечно ищет зла³ и вечно творит добро. Но если взять человеческую жизнь в ее целом — все равно, в ее личной или общественной стороне, — то ничто не может быть в ней пагубнее веры в общее спасительное действие злых инстинктов. Практическую вредность и ошибочность фанатической религии социальной вражды мы испытали на горьком опыте; стоит только осознать ее принципиально, и мы поймем, как важно, дорого и необходимо нам правильно понятое толстовское учение о непротивлении злу злом. Нравственный, а следовательно, и общественный прогресс совершается в форме постепенного накопления положительных чувств и вытеснения отрицательных и никогда не может быть прочно укреплен на противоположном основании — таков смысл этого учения. Средства деятельности должны быть адекватны ее цели, ибо сама цель достигается только накоплением этих средств. Как бы мы ни смотрели на теорию катастроф и переворотов в применении к социальной жизни, основа социального прогресса — прогресс нрав-

ственный — никогда не знает переворотов; прогресс здесь тождествен с воспитанием, с постепенным накоплением навыков и инстинктов. И потому, кто стремится к идеалу любви, тот должен стремиться плодить любовь, а не ненависть.

В тесной связи с этим учением Толстого стоит другая проблема толстовства, когда-то также вызвавшая бурные споры. Проблема эта гласит: личное самосовершенствование или общественная деятельность? Толстой здесь решительно стоит на точке зрения *нравственного индивидуализма*: первая и последняя задача личности относится к самой личности, к ее совершенствованию и нравственному развитию. И это воззрение принимает у Толстого резкую антиобщественную тенденцию: не нужно заботиться об обществе и его пользе, каждому нужно работать только над самим собой, и общественное благо будет обеспечено, только когда каждый обоснует свое собственное благо на твердой нравственной почве. В этом — пункт величайшего расхождения между Толстым и всей русской интеллигенцией, которая выдвигает на первый план обязанность общественного строительства и считает заботу о собственном благе (хотя бы нравственном) непожелательным эгоизмом. Любопытно при этом, что обе стороны смотрят теоретически одинаково на вопрос: обе видят непримиримое противоречие между личным совершенствованием и общественной деятельностью и только разное выбирают в этой антиномии, разное оценивают удобство того и другого пути. Господствующая точка зрения отмечает обыкновенно легкость и возможную быстроту общественной реформы по сравнению с личной проповедью и личным подвигом и подчеркивает независимость прогресса общественных форм от прогресса личной нравственной жизни. Нельзя отрицать относительной правды этого мнения; в известных пределах общественные формы живут самостоятельной жизнью и могут улучшаться независимо от изменения нравственного уровня людей. Когда в пору жестокой реакции и интенсивной потребности в политической реформе раздался призыв яснополянского отшельника к личному самосовершенствованию и к «неделанию», он встретил решительный и почти единодушный протест, и в этом протесте, бесспорно, сказалось здоровое чувство общественного самосохранения. Но теперь, оглядываясь назад и подводя итоги прожитому, мы должны признать, что и на стороне Толстого была значительная доля истины, и притом истины насущно-необходимой. Более глубокое размышление, оплодотворенное политическим и нравственным опытом, показывает, что общественные формы суть все же в последнем счете закрепившиеся личные отношения и, следовательно

но, зависят от состояния участвующих в них людей. Пусть в известных пределах можно совершенствовать форму здания при одном и том же материале — в конце концов все же качество постройки зависит от качества материала, и из гнилого или некрепкого материала нельзя возвести высокого и прекрасного здания. Прежде общественная реформа казалась нам столь легкой по сравнению с улучшением нравственного состояния людей. Теперь мы убедились, что и изменение форм общественной жизни — дело бесконечно сложное и трудное, и если мы захотим, отвлекшись от частных, отыскать глубокую, внутреннюю, общенациональную причину неудачи общественного движения, то мы, бесспорно, найдем ее в *непригодности человеческого материала*. И если чему-либо нас должна была научить эта неудача, то прежде всего — пониманию великой задачи нравственного обновления и личного совершенствования. Понять это — значит отказаться от обычного противопоставления личного и общественного подвигничества. Прогресс есть не что иное, как *воспитание человеческого рода*, по прекрасной мысли Лессинга⁴. Нам нужно воспитываться каждому по отдельности и всем вместе, и последними, основными формами *общественной* деятельности являются личный пример и проповедь. В этом отношении также правильно понятое и очищенное от догматизма толстовство есть то «новое слово», в котором мы теперь нуждаемся. Задача перевоспитания себя и других (не только нравственного, но и общекультурного) никогда еще не ставилась отчетливо русской интеллигенцией; тяжело и горько думать, что, когда неуспехи общественного строительства заставили интеллигенцию вернуться к проблемам личной жизни, на очереди дня стала проповедь разнужданности. Мы не сомневаемся, что это есть лишь временное затмение; но выход из этого тупика — только в сознательном усвоении здоровой и мудрой стороны толстовского учения о личном подвиге.

Противоречие, отмеченное выше, между догматической формулировкой и истинным индивидуалистическим смыслом учения о непротивлении злу есть только выражение более широкой двойственности, проникающей все мирозерцание Толстого. Мирозерцание Толстого можно было бы кратко охарактеризовать как сочетание *догматического морализма с индивидуализмом*. Под догматическим морализмом я разумею стремление беспощадно подводить всю сложность жизненных явлений под строгие, для всех одинаковые и однозначные мерки добра и зла, которым придается абсолютное значение. Этот догматический морализм привел Толстого к суровому аскетизму, к отрицанию культуры, чистой науки и чистого искусства, он заставил сво-

бодный, могучий дух гения подчиниться раз и навсегда определенному деспотическому уставу поведения и требовать его соблюдения от других, он сказался в открытом стремлении обеднить, «опростить» жизнь, чтобы сделать ее вполне добродетельной. Этой нивелирующей и тиранизирующей тенденции противостоит другая черта толстовского духа — его глубокий стихийный индивидуализм, который влечет его от внешнего к внутреннему, от рационализма к мистицизму, от общего для всех к своеобразию личной жизни, от всего мертвого и механического к живому и духовному. Во имя свободы и самоопределения личности он отверг власть и выработал анархический идеал общежития, который, как бы догматичны ни были его формы и выводы из него у Толстого, в своем существе намечает верную цель социального прогресса. Тот же индивидуализм с огромной силой выразился и в его понимании религии как живого, личного, внутреннего отношения человека к Божеству. В последнее время много говорят о «*новом религиозном сознании*»⁵; эти разговоры ведутся в тесных кругах, тема обсуждается довольно книжно и пока, по крайней мере, не обнаруживает несколько сильного и жизненного значения. Мы хотели бы отметить, что единственным религиозным мыслителем, который действительно властно вторгся в религиозную жизнь и идеи которого захватывают и тревожат сознание, является у нас только Лев Толстой. И дело здесь совсем не в его таланте: дело в той правдивости и остроте, с которой проявляется в нем религиозное сознание, разрывающее пути догматов, ищущее тесного, живого и доступного всякому общения с Божеством. Как бы ни оценивать религии Толстого по существу, нельзя отрицать, что в ней, и в ней одной, жизненно сказалось подлинно *новое* религиозное сознание. Эта новая религиозность прежде всего *индивидуалистична*, она ищет и находит Бога не в коллективной организации Церкви, не в старых книгах и внешних таинствах, а только в великом таинстве богосознания человеческой души.

Этот плодотворный индивидуализм, оживляющий и углубляющий общественную, религиозную, этическую мысль, сталкивается с догматическим морализмом, и их сплетение дает то «толстовство», которое и манит нас своей духовной красотой и отталкивает своей суровостью и холодной безжизненностью. Великая мысль о побеждающей силе любви выражается в мертвой формуле непротивления⁶, чуткое понимание личных корней общественности приводит к отрицанию общественной деятельности, и беспощадная мораль отвергает почти весь мир — мир, сотворенный Богом любви. Строгая логичность в проведении мо-

ральных принципов не спасает Толстого от этих глубоких противоречий, коренящихся во внелогической стихии его духа. Гении противоречивы, как природа, потому что они богаты и полны, как она; и нам остается лишь черпать из них то, что благотворно для нас.

Но догматизм присущ только Толстому-мыслителю; художественное дарование Толстого, граничащее со сверхчеловеческим ясновидением, порывает все внешние, сужающие цепи мысли, дает нам чуть великую, бесконечно сложную и богатую жизнь мирового духа и заставляет пантеистически преклоняться перед нею. И когда Толстой доверяется этому художественно-религиозному чутью, он уходит далеко от своих узких человеческих теорий и показывает нам всю силу жизни и всю серость догматической мысли. Я знаю только одно рассуждение Толстого, в котором достойно сказался весь его гений: это рассуждение принадлежит Толстому — почти юноше, но глубже его он ничего не сказал и позднее.

«Несчастное, жалкое создание — человек со своею потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой — неблаго. Проходят века, и где бы что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы добро-го и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне — столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответов на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива: ложна — односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива — по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений, совсем с другой точки зрения, в другой плоскости... У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие, запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы, хотя в неподвижном прошедшем, обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, — не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо,

сверху взглянуть на нее? Один, только один у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех и каждого как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно, — тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу» *.

В этих гениальных словах содержится осуждение едва ли не всего догматического «толстовства». И все же их написал тот же самый Толстой, и можно только изумляться богатству его духа, который в своем развитии мог обнять такие противоположности. Откинув, с помощью самого Толстого, догматическую, узкую, «слишком человеческую» оболочку толстовства, мы должны использовать его драгоценную сердцевину. Неустанно и сосредоточенно работать над самим собой, безбоязненно искать правду, превыше всего ставить божественную природу человеческой души и мертвость догматов, традиций и стадных привычек в общественной, религиозной и этической жизни заменять свободным поклонением Богу любви в духе и истине — таковы бессмертные заветы Толстого.



* Из рассказа «Люцерн».